

**В.В. Розанов**  
**Ответ г. Владимиру Соловьёву<sup>1</sup>**

*По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Москва, 2009 г.*

*Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» № 4, 1894 г. под одноименным названием.*

---

В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского Вестника», я попытался установить границу так называемой внешней свободы, — в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется своими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать; требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятельность у него есть назначение.

Так изложенный, этот взгляд и есть, и может быть понят только как направленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отрицанием жизни; и в законы бытия его всё живущее какою-либо верою, утверждением так же не может проникнуть, и не должно, как он сам, разрушая все живое, не проникает в смысл особых, в нем лежащих, утверждений. И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против нее перевес, — я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Статья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Непреднамеренно, я произнес слово, которое всего нужнее было произнести, — и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия, разложения, я произнес слово: *нетерпимость*; конечно, лишь слабость моих слов, неслышность моего голоса была больна, а не самый смысл слова. Но если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности

---

<sup>1</sup> См. его «Порфирий Головлёв о свободе и вере», «Вест. Европы», февраль, 1894 г.

переносить его вид»<sup>1</sup>.

## I

Мой противник называет это «законом жизни животной»<sup>2</sup>; он не находит слов, достаточно сильных, чтобы заклеить его<sup>3</sup>; и наконец, просто отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою<sup>4</sup>. И, между тем, эту слепотой своего негодования он именно подтверждает его как вечный исторический закон, через который мы не только не переступаем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он, очевидно, так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю, — и даже не признаю его смыслом *жизни*, но только косного бытия, как давление камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая без внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною принцип, без сомнения, он противопоставляет «закон жизни под-благодатной»: но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту минуту отрицаю принципы индифферентизма? разве он видел в его подвигах что-нибудь, кроме смелых преступлений, в добродетелях — кроме красивых пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в согласие, выбирал, что бы из *своего* соединить с

---

<sup>1</sup> Именно эти выражения, тщательно выбирая из моей статьи и подчеркивая их, г. Вл. Соловьёв считает особенно... неприличными? Страшными? Потому или другому, но только *доносит* о них своей «публике». См. «Вестник Европы», стр. 912.

<sup>2</sup> См. «Вестник Европы», стр. 911.

<sup>3</sup> «Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы наверно в том же смысле»... «Иудушка не был бы самим собою, если бы зверообразно-дикую сущность своей веры или своего *закона жизни* излагал прямодушно от своего собственного имени, или от имени единомышленных ему зверей и диких людей. По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский (почему не готтентотский?) субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине» и т. д., стр. 911.

<sup>4</sup> В эпитафии своей статьи против меня (и, следовательно, как бы определяя *цельный* смысл моей статьи) он говорит: «Ишь ведь как пишет! Ишь как языком-то вертит!.. Ни одного-то ведь слова верного нет! *Все-то он этого не чувствует*». Там же, стр. 906.

чем-нибудь, что есть там, в «закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не понял *главный* смысл утверждения Спасителя: что ни терпение мертвое, ни нетерпение<sup>1</sup> Он не проповедовал, но правду внутреннюю в отличие от правды внешней, и с последнею не мирился, ей не простирал прощающей руки; мытарь — в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша, не хотевший сделать последнего? на лоне ли Авраама законники? Нет, мы о них слышали: «Истинно, истинно говорю вам, земле Содомской и Гоморрской будет отраднее в день суда, нежели им».

## II

Явившись среди нашего общества с истолкованием «учения о Логосе»<sup>2</sup>, он не замечает, как вот уже много лет, при молчаливом терпении всех, он являет неслыханный пример кощунства над Евангелием, и среди народа, темного в книжном научении, но по истине мудрого, являет еще невиданный никогда образец религиозной тупости. Этот народ и живет тем, что, изо дня в день слыша на литургии чтение Евангелия, усвоил его *дух и смысл в целом*; и, не ошибаясь, этот его *цельный смысл* применяет к жизни, им судит другого, и, прежде чем другого и строже, чем другого согласно этому смыслу, им судит себя. Г-н Вл. Соловьёв взглянул на Евангелие, как боец на арсенал, из которого он мог бы извлечь себе оружие. Его писания мелькают всюду текстами, и он не чувствует, как весь смысл этих писаний, самый дух, с каким они начаты, не только не имеют уже в себе ничего евангельского,

---

<sup>1</sup> «Если бы Иудушка с правдивым благочестием относился к указаниям священных текстов, а не злоупотреблял ими для своей скверной тенденции, то он, по вопросу о веротерпимости (ведь я же веротерпим) припомнил бы не Содом и Гоморру, а то Самарянское селение, где из-за религиозной розни не приняли Христа, как идущего в Иерусалим». «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?». Но он, обратившись к ним, сказал: *не знаете, какого вы духа*. Мы преднамеренно не будем разбирать этого текста, ни того, к чему он относится, ни того, на что в апостолах указывает; но заметим, что ведь слова эти сказаны Богом, Которого разумея, и я в статье «Свобода и вера» оговорился: «Не отвергаю, что, в универсальном смысле, свобода может быть, однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирующем индивидуальные свободы, *с знанием верховным и абсолютным их относительного значения и окончательного смысла*» («Русский Вестник», янв., стр. 269). Мой критик не различает Бога от человека.

<sup>2</sup> «Жизненный смысл христианства; философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова». 1883 г.

но являются совершенным его отрицанием; ненавистник своей родины<sup>1</sup>, презирающий его церковь<sup>2</sup>, что, наконец, он любит? И без любви, со словами только осуждения всему<sup>3</sup>, зачем берет он слова из святых книг; как тать, прокравшийся в церковь и там пойманный, машет священными предметами, захваченными с жертвенника и престола. Не для того эти предметы, святотатец; не для того Евангелие, чтобы им сокрушать, колоть, уязвлять, но чтобы исцелять, и еще ранее — исцелиться; только.

Прежде, чем выискивать в нем потребные тексты, нужно спросить себя: совершенно ли усвоен дух всех их, чтобы, в полной покорности этому духу, в целях, не противоположных ему, употреблять и самые тексты. Иначе ведь и разбойник, уходя из зажженной им деревни, мог бы ответить горящим, смеясь: «Неизвестно, спасетесь ли еще вы, а я верно спасусь: вот текст»; и блудница, с мыслью возможности покаяния в последний час, блудила бы, бесстыдно озираясь на борющихся с собою, о которых не оставлено никакого текста. Но, по истине, покаяния им не будет дано, и, преднамеренно рассчитанное, оно не будет принято; *то* исцеляющее раскаяние уже было, совершилось, и, с тех пор

---

<sup>1</sup> «...Ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди или два закона. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана через Моисея народу израильскому: *чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и долголетен будешь на земли*. Вторую заповедь дал Христос ученикам своим: *«Идяху же с Ним народи мнози: и обращен рече к ним: аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и чад, и братию, и сестер, аще же и душу свою, не может Мой быти ученик»* (Ев. Луки, XIV, 25-26).

«Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключать из этой истинной любви наших ближних, семью. *Однако же прямо сказано: «аще кто не возненавидит»*. Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви; от этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть, — возненавидеть не только себя или «душу свою», но и свою семью, и всех близких своих, и *народ свой*, — *ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение и от своего народа*. Вот эта-то истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному — *она-то и есть то самоотречение — не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное*, которое выдуманно не мною и какими-нибудь западниками, и возвещено и западу, и востоку в *Новом Завете — в выражениях более резких, нежели самоотречение*». Владимир Соловьёв: «Национальный вопрос в России». Вып. 1-й, изд. 3-е. Спб., 1891, стр. 62-63. Вот уж вспомнишь: «Во гресех зачала меня мати моя».

<sup>2</sup> «...Мы самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, *сами сидя на месте, и сидя на месте не падали*» (Влад. Соловьёв. Три речи в память Достоевского. Моск., 1884, стр. 47). Так определен им смысл исторического существования восточной церкви, в отличие от западной.

<sup>3</sup> См. «Национальный вопрос в России». Эта книга собственно идейного *raison d'être* не имеет.

как миру о нем поведано, для мира оно прошло и не повторится иначе, как в случаях такого же полного о нем неведения, как и тогда.

Г-н Влад. Соловьёв со своими текстами и всем «богословием» именно имеет вид такой блудницы, которая, потрясая ими бесстыдно перед глазами всех, говорит: «Еще погрешу и — спасусь, а вы погибнете». Он совершенно не задается вопросом, для любви или для злобы он трудится, ложью или истиною живет, целомудренна ли душа его, когда его язык произносит святые, всем ведомые, и лучше, чем им, всеми чтимые слова. Он говорит: «Во имя закона любви<sup>1</sup> сольемся с Западною церковью», и не слышит, точнее делает вид, что не слышит, как говорят: «Во имя истины, во имя единства церкви, во имя самой любви не могу соединиться с тем, что истину нарушило<sup>2</sup>, единство разорвало<sup>3</sup>, любовь презрело<sup>4</sup>, и в себе, в своих недрах, заменило ее

---

<sup>1</sup> «Это слово соединения есть слово святое и божественное, оно одно может дать нам и истинную славу сынов Божиих: «Блаженны миротворцы, яко тип сынове Божии нарекутся»... «В соединении церковей я вижу не умерщвление русской церкви, а ее оживление, *небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной* (какие все идеалы, и ни слова об истине!). Для того, чтобы это совершилось, необходимо самоотречение не в грубом физическом смысле, не самоубийство, а самоотречение в смысле чисто нравственном, т. е. приложение к делу лучших свойств русской народности — *истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости, свободы от всякой исключительности*, и прежде всего — *духовного смирения* (курсив в последнем слове г. С-ва)... О духовном смирении русского народа я не только слышал, но и поверил ему, и не только поверил, но и опираюсь на него в своих взглядах на церковный вопрос... Я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять совета, с которым ко мне обращаются: не отделять себя от народа, воссоединиться с русским народным духом. Я не знаю, что под этим разумеется, про какой дух говорится. Тот ли это *дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, дух, который всегда внушал им искать не своего, а хорошего*» (там же, стр. 72-73).

<sup>2</sup> Внешнее оправдание, центрально отвергнутое Христом, центрально же принято католичеством в так называемом учении о спасении через «добрые дела» (т. е. факты, поступки, творимые без живого участия в них совести).

<sup>3</sup> Католицизм исторически обозначает собою отделение, сектантство: ибо от церкви, оставшейся после разделения в этом же содержании, как и до него, очевидно, именно он отделился, секотизировался, чтобы это содержание видоизменить, и уже начиная его видоизменять в самый момент отделения.

<sup>4</sup> Не отвергая возможности и нужды самоулучшения и даже саморазвития, самоизменения, церковь однако к этому трудному и великому шагу приступает не иначе, как в бережной любви, зная, что Спасителем она указана, как охрана человека против внедрения злого духа («где два или три соберутся во имя Мое — Я посреди их»). Видоизменившись вне единения с восточными церквами, католичество вышло из их согласия, и тем разорвало любовь, вне которой церковь и невозможна. Его историческая сущность в том вся и выражается, что оно есть мятеж против церкви, собой обусловивший возможность и всех последующих от нее отпадений (протестантизм XVI в., деизм XVII, атеизм XVIII, и т. д.).

ненавистью и ложью»<sup>1</sup>. С тем непониманием, глухим и косным, с каким смерть, разрушение относится к живущему, он различает только одно: что *два* слившись будут *одно*, что *слияние* — это *близость*, и, вероятно, любовь; но что будет одно, не ценою ли потемнения истины<sup>2</sup> только может произойти слияние, и не принятием ли в себя злобы и лжи механического соединения, к этому он слеп, этого он не видит. Мертвый человек, и задавшийся самым великим, самым святым, самым жизненным, что в неисповедимых путях Промысла, мы ждем, совершится: но тогда, когда Запад утомится в своей лжи, устанет в злобе и приползет к ногам им отвергнутого, им презренного, им столько мученного<sup>3</sup> Востока.

### III

«Примирение»... он говорит, и кому же? Церкви! И о чем? О том, что верно не по маловажным причинам вот уже тысячелетие не примирено. Малодушный, и слепой, и лживый человек: пусть он в своем маленьком раздражении, в ссоре, вчера начавшейся, помирится со мною. Пусть напишет в ответ на статью эту — проникнутую миром, спокойствием, любовью и прощением к тому, что в ней ему непонятно. Но я уверен, и умирая он не простит мне ее, и я не простил бы ему, если б в самом деле был к нему исполнен злобы, — но не к нему, в моих

---

<sup>1</sup> Инквизиция и иезуитский орден; принципы последнего мы можем принять за принципы вообще католичества, по аксиоме: что в части есть — есть и в целом.

<sup>2</sup> Выше мы уже отметили, что вопрос об истине как бы исчезает, туманится перед глазами г. Вл. Соловьёва, и он манится исключительно внешними ожиданиями: «возвеличения власти духовенства», «украшения церковной жизни», «оживления и одухотворения — гражданской», и т.п.

<sup>3</sup> Самое любопытное в истории отношений Восточной и Западной церковей есть то, что первая никогда собственно не боролась, не умела этого (и, мы глубоко убеждены, не должна уметь — не для этого она на земле). Так что требование открыть свободу западной пропаганды, напр. у нас, есть собственно требование повалиться перед наступающим врагом. Православная церковь не хочет враждовать и спорить, наконец, — считает себя неспособною к этому (мы думаем — не имеет для этого исторических и мистических в себе задатков); по крайней мере, способ защиты ведь не могут же оспаривать у нее наступающие: она и избирает себе соответственный — *не слушание*. Она просто хочет молиться, и, конечно, вправе пожелать, чтобы ей в этом не мешали, а внешние ее стражи вправе не допускать «богословов», которые хотели бы войти в храм, и, уставив его кафедрами, начать словопрения. Не время и не место — у нас и теперь — для этого: дьякон читает ектению, народ «миром» молится, скоро запоют Херувимскую песнь: к чему споры, и для чего, о чем?. Одно желание, к одному усилию есть у верующей в себя церкви: чтобы горяча была ее молитва, и чтобы там, за стенами храма, она как бы продолжалась, не остывала, теплилась, трансформируясь в каждом месте и времени, сообразно вещам, к которым применяется, но не в смысле и духе своем, а лишь в образе применения. *Полнота и живость* церковной жизни, вот что остается для нее одно при вере уже в *истинность*.

глазах только жалкому слепцу, я исполнен презрения, однако есть вещи, которых и я умирая не прощу и не хочу простить — это равнодушие к истине, которого выражением служит хотя бы орган, в котором он участвует. Итак, если оба мы с некоторыми вещами не примирены, и примирение считали бы отступничеством от чего-то лучшего, нежели только мир; не ясно ли, что есть это лучшее и для великих исторических организмов, как церковь, которые, тысячелетие двигаясь бок о бок, не сливаются, не единятся — не потому вовсе, что не знают, что «единение хорошо», а потому, что знают, что есть его лучшее, и это лучшее им вверено, и они его должны донести до конца, не растеряв.

#### IV

В книге «Национальный вопрос в России» им это примирение пропагандируется; с неутолимым раздражением, которое было бы отвратительно, если бы даже и не было так мелочно, он набрасывается на все партии, на память всех замечательных людей, в которых этому примирению предполагалось видеть отпор. Сам он, ему кажется, является в нашей истории четвертым после Гостомысла, Владимира св. и Петра<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> «Наша история представляет два великие, истинно патриотические подвига: призвание варягов и реформу Петра Великого. Я не говорю о принятии христианства при Владимире Св., потому что вижу в этом событии не столько подвиг национального духа, сколько прямое действие благодати и Промысла Божия. Однако и здесь заслуживает замечания, что Владимир и его дружина не боялись принять новую веру от своих национальных врагов, с которыми они были в открытой войне»...

«Склонность к розни и междоусобиям, неспособность к единству, порядку и организации были всегда отличительным свойством славянского племени. Родоначальники нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. По-видимому, эти люди, призывая чужую власть, отрекались от своей родной земчи, — на самом деле они создавали Россию, начинали русскую историю. Великое слово народного самосознания и самоотречения: земля наша etc... было творческим словом, впервые проявившим историческую силу русского народа и создавшим русское государство... Нас постигло бы без этого» и т. д. и т. д., но «мы были спасены от гибели национальным самоотречением» (стр. 33-34).

«Россия XVI века... нуждалась во внешней цивилизации и в душевном просвещении. И вот, как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением своего, как теперь» и т. д. «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм — страшная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народного самолюбия» и т. д., «но Петр верил в Россию и не боялся за нее. Он верил, что европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности и только даст ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творчества, могло явиться только благодаря Петровской реформе; без этой реформы» и т. д., и т. д.; в заключение: «реформа Петра Великого была в высшей степени оригинальна (его курс.) именно этим смелым отрече-

первый призвал Русь отречься от своего хаоса и призвать правителей из-за моря, второй — отречься от язычества, чтобы покорить народ свой чужеземной вере, третий — чтобы покорить его чужеземным формам быта, сложения. И, наконец, на наших глазах, и опять Владимир, но только еще не канонизированный, зовет ее совершить новый несправедливо высший акт отречения от веры своей истинной, от древней церкви<sup>1</sup>. Его роль ему кажется более высокой, чем трех его предшественников<sup>2</sup>: он вспоминает великого еврейского законодателя, — и слова, которыми тот заключил свой закон, страшная клятва, которою он заклинал народ до конца сохранять этому закону верность, он повторяет,

---

*нием... этим благородным решением... повтять с прошедшим народа ради народной будущности»* (стр. 36—37).

«Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в призвании варягов создало русское государство; не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные средства, необходимые для совершения его всемирно-исторической задачи. И неужели, приступая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути самоотречения... Ведь плоды нашего национализма только в церковном расколе с русским Иисусом и осьмиконечным крестом (какой взгляд на раскол, после всего, что о нем написано!). А плоды нашего национального самоотречения (в способности к которому и заключается *наша истинная самобытность*) — эти плоды налицо: во-первых, наша государственная сила и, во-вторых, наше просвещение»... Но «окончательно и безусловно ценного ни там, ни здесь еще нет: и государственность, и мирское просвещение суть только *средства*. Мы верим, что Россия имеет в мире *религиозную задачу*. В этом ее настоящее дело, к которому она подготовлялась и развитием своей государственности, и развитием своего сознания, и если для этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный подвиг национального самоотречения, тем более он нужен для нашего окончательного духовного дела» (стр. 39—40). Влад. Соловьёв. Национальный вопрос в России. СПб., 1891 г.).

<sup>1</sup> Восстановление единства и согласия христианской церкви, *положительная духовная реформа* — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, но гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега, или нужда в образовании и гражданской реформе во времена Петра Великого... Призвание варягов дало нам государственную дружину. Реформа Петра Великого, выделившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей в области мирского просвещения. Та *великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим (воссоединение церквей), должна дать нам церковную дружину... духовных учителей и руководителей церковной жизни, истинных показателей пути, которых желаем, которых ищет наш народ... И как те два первые дела — введение государственного порядка и введение образованности — могли совершиться только через отречение... так и теперь для духовного обновления России необходимо отречение»*... (там же, стр. 41-42).

<sup>2</sup> «Мы воспользовались чужими силами в области государственной (т. е. при Рюрике) и гражданской (при Петре Великом) культуры. Но для христианского народа внешняя мирская культура может дать только *цвет*, а не *плод* его жизни; этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей — духовной или религиозной культурой, в которой мы остаемся доселе совершенно бесплодными» (там же, стр. 42; курсивы принадлежат г. Вл. Соловьёву) и должны быть оплодотворены через воздействие на нас католической церкви.



не в конце только, но перед изложением своей доктрины: «...По своему историческому положению и по национальному характеру и мирозерцанию Россия должна сделать почин в этой новой *положительной* реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность — мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы *знаем наверное*<sup>1</sup>: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется, если она не откажется... если она не возжелает и т. д.

«Призываю ныне во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил я ныне пред лицом вашим — благословение и проклятие; избери же жизнь, да живешь ты и семья твое». *Второз. XXX, 19*<sup>2</sup> (*Предисловие к «Национальному вопросу в России», стр. IX*).

Совсем Моисей... недостает только Синая; недостает сияния около головы, или, быть может, оно чудится? И чудится, кажется, дивящийся на пророка своего народ, благоговейно слушающий его слова, и не теперь-завтра имеющий принять их как высший руководительный принцип в выборе для себя исторических путей.

Все остальное — хлопоты «пророка» около «своего народа». Мы делаемся свидетелями, как во всеуслышание утверждается<sup>3</sup>, что инквизиция зародилась на Востоке, и подразумевается, что это он, мрачный, гнусный, передал это адское свое изобретение католическому Западу, который без него, быть может, пребыл бы кроток и милосерд к заблуждающимся в вере. Университеты и академии изумлены открытием, печатаются древние тексты; филологи толкуют название учреждения; требуются справки в *Thesaurus linguae graecae*<sup>4</sup>; и, наконец, все удостоверяются, что что-то в этом роде если и не было, то почти было, или хотело, или могло быть если и не в этом, то в том веке, но действительно на Востоке, среди православной церкви, которая в споре все-таки пошатнулась немного в предполагавшейся всегда чистоте ее от этого гнусного учреждения католической церкви. Наша местная церковь, к печали всех истинных ее сынов, вот уже два века лишена внешней свободы жизни, — конечно, временно, конечно, к испытанию только нашего терпения, но тот же «пророк» отыскивает в «Камне веры» Стефана Яворского несколько строк, и умолчав, что они навеяны

---

<sup>1</sup> Курсивы принадлежат Вл. Соловьёву.

<sup>2</sup> Этими словами оканчивается пятая и последняя между книгами Моисеевыми, получившая название свое от изложенных в ней постановлений, обнявших жизнь еврейского народа во всех подробностях религиозного, гражданского, экономического быта и действительно способных стать законом жизни.

<sup>3</sup> В одном из заседаний «Московского психологического общества» за прошлый год, вызвавших столь бурную и памятную полемику в нашей литературе.

<sup>4</sup> Сокровищница греческого языка (*lat.*).

были с Запада и чуть ли не прямо взяты из какого-нибудь католического богослова, говорит, что они оправдывают лишение церкви прежней свободы и ограничение ее во внешнем устройении и жизни светскою властью<sup>1</sup>. Умалчивается о всем колоссальном, что режет глаза, как иезуитский орден, как кровавый парад при сожжении еретиков; умалчивается история и поднимается вихрь слов<sup>2</sup>, слов, слов, которые ведь могут же, наконец, заслонить от современников, столь забывчивых, столь легкомысленных, действительность, и, как бы гипнотизировав их, в самом деле заставить думать, что и пророк, и Синай, и скрижали — вот они: ему остается встать и пойти.

## V

И никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не показало обтянутых лайкою ног, которым, конечно, не идти в пустыню;

---

<sup>1</sup> «...И что же, едва успел Стефан Яворский в своем богословском трактате с такою решительностью присвоить церкви два меча (т. е. силы нравственной и власти гражданской), как уже должен был отдать их оба в руки *мирского начальника*. Из блюстителей праздного престола патриаршего он волей-неволей делается бесправным председателем учрежденной Петром Великим духовной коллегии, в которой наше церковное правительство явилось как отрасль государственного управления под верховною властью государя — *крайнего судии сей коллегии*, и под непосредственным начальством особенного государственного сановника — *из офицеров доброго человека, кто б имел смелость и мог управление синодского дела знать*. Беспристрастный и внимательный взгляд на исторические обстоятельства, предшествовавшие учреждению синода и сопровождавшие его, не только удержит нас от несправедливых укоров великой тени преобразователя, но и заставит нас признать в сказанном учреждении одно из доказательств той провиденциальной мудрости, которая никогда не изменяла Петру Великому в важных случаях. Упразднение патриаршества и установление синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положительно полезным для будущего России. Оно было необходимо, потому что наш иерархический абсолютизм, искусственно возбужденный юго-западными влияниями (отчего не сказать прямо: «католическими»), обнаружил вполне ясно свою несостоятельность», и т. д. См. «Национальный вопрос в России», ч. II, стр. 20.

<sup>2</sup> Вот пример, как г. Вл. Соловьёв обходит ему неприятную истину: приведя слова мои (из ст. «Свобода и вера»): «Не более, чем в протестантстве, есть веры и в католичестве: *иезуит*, во имя Христа хватающий протестантского младенца и, читая молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родителям и не стал в ряды колеблющихся камень Петра — это иступление неужели вера», — он, не отрицая поразительного факта, практиковавшегося в знаменитом ордене, оговаривает: «Обваривать младенцев кипятком не есть *правило* (как будто *это* я утверждал, и между тем отрицательная частица *не* уже внедряется в ум читателя и затемняет, не отвергая, факт) *католической церкви* (как будто о ней всей я говорил). Это несколько напоминает правило, содержащееся в курсах нравственного богословия иезуитов: «Если ты убил человека и на суде тебя спрашивают об этом под присягою, ты можешь сказать — *нет, не убивал*, добавляя мысленно: *до его рождения* (*reservatio mentalis* — умственная оговорка). «И Бог, видящий тайное», по мнению иезуитов, не предаст убийцу «явному» суду.

не показало немощных рук; ни червя зависти, гнева, мелочной злобы, который точит сердце; ни, наконец, ума, который так мало, так слепо, так жалко понял даже то, что нужно было бы ему говорить, если бы в самом деле он был тот, кем кажется себе. Бедный танцор из кордебалета, пытающийся взойти на пылающий огнем Синай; жалкий тапёр на разбитых клавишах, думающий удивить мир мелодией игры своей; человек тысячи крошечных способностей без всякой черты в себе гения; слепец, ушедший в букву страницы, не разумеющий смысла читаемых книг<sup>1</sup>, книг собственных, наконец<sup>2</sup>, и он — в роли вождя народа, с бесстыдными словами, какими-то заклинаниями, — было ли в истории, не нашей, но чьей-нибудь, явление столь жалкое, смешное, и, наконец, унижительное, унижительное не для него уже, но для человеческого достоинства.

Никем не было, кажется, замечено, что коренная особенность публициста-богослова-философа-поэта и т. д. и т. д. есть именно не-

---

<sup>1</sup> Вся критика его (см. «Национальный вопрос в России») есть собственно не критика взгляда, теории в их центре или основании, но — какой-нибудь мелочной, побочной черты, вырванной страницы, неудачного выражения, неверно приведенного факта, и в этих узких границах критика остроумная, живая или, по крайней мере, язвительная. Так разбирает он Киреевского, Хомякова, Данилевского, и незнакомый с их трудами, читая эту критику, не мог бы составить даже приблизительного понятия о том, что собственно критикуется, в чем состоит опровергаемый взгляд. Так по вопросу о культурно-исторических типах собственно является один вопрос: как же, если типы эти непроницаемы, отнестись к некоторым абсолютным идеям (как христианство, или в другой сфере — геометрия) — опровергнуть ли их, сохраняя эту непроницаемость, или сохранить эти идеи и тогда опровергнуть их непроницаемость? И, далее, в каком объеме принимать эти идеи, и, след., суживать содержимость самых типов? Между тем он заговорил о этнографической группировке народов у Данилевского, и тех вещах, не относящихся к делу. В возражении на статью мою «Свобода и вера» он, между строками, и без нужды для себя, соглашается с двумя ее исходными точками («положим так: поскольку дело идет о свободе исповедания и проповедания, *само собою понятно*, что кому *ничего исповедывать* и проповедывать, тот и *в свободе* для этого *не нуждается*»). «Вестн. Евр.», февр., стр. 910; «что всякий человек *должен защищать* и естественно защищает *истину*, *в которую верит* — это *само собою разумеется*, об этом *нет вопроса и спора*», там же, стр. 916), не замечая, что остальное все уже *implicite* здесь содержится, и против него бесполезно спорить.

<sup>2</sup> Замечательно, что книги его не только не отвечают цели своей, но иногда ей противостоят: так, ища соединения церквей, конечно, нужно было примирять разделенных, *объяснять* их взаимные недостатки, указывать общие им черты, и ни в каком случае пристрастием и односторонностью критики не раздражать которой-нибудь одной стороны. Между тем в «Национальном вопросе», с утонченной изощренностью выискивая все, в чем можно было оскорбить Восток, Россию, православие, он не обмолвился ни одним упреком по отношению к Западу, католичеству, и вот почему, насколько его деятельность влиятельна, насколько его книги читаются, мира в сердцах стало менее, чем до его писаний, и самое соединение церквей — далее от возможности теперь, чем когда-нибудь.

способность: неспособность стать чем-нибудь и даже, просто, стоять на собственных ногах; вот почему он то падает на плечи славянофилов, пока они есть; умирают их видные столпы — он падает на плечи западников; есть «Русь» — он в «Руси»; нет «Руси» — он в «Вестнике Европы», не по недоразумению, но с истинным влечением, как дерево без корня, которое вечно к кому-нибудь клонится. С Достоевским он едет в Оптину пустынь<sup>1</sup>; некому везти его в Оптину — он слушает, не зовет ли юга в Загреб (кажется), в Париж, куда-нибудь. Ему нужно, чтобы его держали, он решительно не стоит. Он думал заняться философией, но для этого нужно, по крайней мере, уметь сидеть за письменным столом, а между тем ноги его куда-то неудержимо бегут; он думал — бегут на Синай, но вот подвернулся публицист, которого нужно «казнить»<sup>2</sup>, и он, обмакнув перо в чернильницу, пишет остроумный памфлет, которому завидует «Стрекоза». Синай, однако, не забыт, Синай тревожит его сердце: и вот, не выпуская пера памфлетиста, он им пишет... что? памфлет? мессианские прозрения? Но что-то, во всяком случае, любопытное<sup>3</sup> для прочтения, и пресса шумит, книгопродавцы хватают его книги, а он, бедный, думает, что это все... Бедный слепорожденный, который болезненный блеск в своем глазе принял за свет солнца, о котором ему говорят, он слышит, и хотел бы видеть его; но этого ему не суждено...

## VI

Пытаясь выразить в каком-нибудь термине сущность вещей, Аристотель создал сложное выражение для этого, в точных терминах своих непере译имое: τὸ τί ἦν εἶναι<sup>4</sup>. Это — идея вещи, ее вечное, неразрушающееся понятие, как мы догадываемся; но, по более точному переводу, просто — «то, что вещь делает именно тем, что она есть»: и действительно, это есть самое общее понятие о сущности. Есть, однако, вещи как бы недоделанные, не сформировавшиеся еще, неясные в себе, и к ним неприменимо это выражение; есть и люди, тенью проходящие в истории, к которым приложить этот термин мы не могли бы. Г-н Соловьёв есть человек без τὸ τί ἦν εἶναι — вот глубочайшее его определение и вместе объяснение всего его характера и, наконец, самой судьбы, насколько она совершилась уже. Нет центра в нем, неудержимо

---

<sup>1</sup> 1879 г. См.: «Биография и письма Ф. М. Достоевского» в «Сочинениях» изд. 1882 г.

<sup>2</sup> См. исполненные игривого остроумия статьи о Щеглове (в «Вестн. Евр.»), Лесевиче (в «Вопросах Философии и Психологии»), были, кажется, еще другие.

<sup>3</sup> «Национальный вопрос в России» — книга, о которой читатель может составить представление по обширным, сделанным из нее, выдержкам.

<sup>4</sup> Бытие тем, что было (*ερεχ.*).

формирующего внешние черты его образа, деятельности<sup>1</sup>, нет координирующего центра, который управлял бы движениями его тела; и вот почему ловкость рук его удивительна, быстрота ног внушает страх, все движется, и, однако, так, что, сторонясь, мы спрашиваем: не паралитик ли? Все действия его не отвечают целям, ради которых он ясно совершает их; устройство способностей его — задачам, за которые он берется<sup>2</sup>; все расстроено, хотя и шумно, деятельно, для скучающих — ярко, значительно, во всяком случае любопытно. В нем есть οὐοία<sup>3</sup>, есть ἀρχή τῆς κινήσεως<sup>4</sup>; он пытался найти τὸ τέλος<sup>5</sup>, но нет τὸ τί ἦν εἶναι, и — вот он весь, со всеми своими талантами и всею немощью.

## VII

Конечно, немощный в главном, при тысяче способностей к подробностям, он прежде всего ошибся в определении смысла времени, в которое по воле судьбы брошен рождением и должен бы потонуть в его забвении, но множеством второстепенных своих даров поднялся над этим забвением. Куда плыть, что делать, когда руки машут?.. И вот, среди множества точек зрения на родную историю, он понял только одну, что в ней не однажды совершались отречения, и повторил механично: «отречемся еще»; в Евангелии прочел: «возлюби ближнего» и, протягивая перед собой руку, безжизненно указал: «возлюби того, кто рядом с тобой»; и, наконец, слыша, как отовсюду ломятся стены родного здания, стал призывать: «разломим, сокрушим». Он думал, в этом

---

<sup>1</sup> Читатель может сказать, что религиозность есть все-таки господствующая черта всех его трудов; но мы ограничим это, заметив, что к религиозному он постоянно тяготеет не в ином смысле, чем как и дерево без корня падает всегда к земле. Но это — вопрос сложный, который можно было бы разъяснить, лишь сделав из него новые обширные выдержки.

<sup>2</sup> Недостаток созерцательности, чрезмерное преобладание волевого начала над рефлексией делает его всего менее философом; а раздраженное, мелочное сердце и способность к сарказму мешает быть богословом. По характеру ума он есть собственно казуист, по влечению — литератор; слово занимает его всегда более, чем дело, и даже в собственных средствах оно чрезмерно преобладает над мыслью. И между тем некоторая загородная тоска влечет его к великим задачам, его воображение рисует образы, из этой тоски вытекающие, но в высшей степени не отвечающие его средствам. Едва ли, когда весь его путь будет пройден, о нем не придется сказать: вот человек, который испортил так много прекрасных начинаний, и время бы уже приступить к ним, но кто же теперь, после него, за них возьмется?

<sup>3</sup> Сущность (греч.).

<sup>4</sup> Начало движения (греч.).

<sup>5</sup> Результат (греч.).

он понял историю. И в самом деле, ведь те факты указал он, которые были; за святыми словами последовал; и наконец, ответил какому-то неясному движению истории.

Ответил, повторил, указал, ничего не связав живую мыслью. Ему непонятно, почему бы с Евангелием нельзя было обращаться, как с геометрией, откуда какое бы положение мы ни взяли, можно быть уверенным, что не найдется никакого, с которым бы оно стало в противоречие. Великий экзегет, не без «черт оригеновского мышления»<sup>1</sup>, не заметил, что ведь геометрия есть ряд утверждений, к одному относящихся, в одной тесной сфере движущихся, в одну сторону направленных; и противоречие здесь было бы отрицанием, саморазрушением. Но этого саморазрушения нет в противоречиях живого, и особенно когда это живое есть семя, из которого подымется произрастание веков и веков. Их все, в необъятной их судьбе, в падениях и возвышениях, в грехе и просветлении, нужно было укрепить — прощением в одном случае, угрозой в другом, милосердием как и гневом. Какое же слово, засунув слепо руку, мы вытащим, чтобы на нем основать судьбу человека, искусственно построив ее на этом одном слове бескровную мыслью? «Блаженны нищие», но разве *Иов* уже не блажен? не блажен *Давид*! «Блаженны кроткие», но что же, разве уже прокляты *Илия* и *Елисей*? «Блаженны творящие мир», — но с кем, и с *фарисеями*? Для живых Евангелие было принесено, а не для мертвых: для живого руководства его цельным смыслом, в скорби и в радости, в возвышении и падении, всегда, когда сердце открыто, для всякого, кто умеет это сердце открыть. У кого же оно глухо, замкнуто, что может костлявая его рука вытащить оттуда, и, на вытащенном построив, успокоиться, что построенное вечно по данному обетованию и праведно по основанию. Нет, оно может быть и преступно, может стать временно, как это мы видели в XIV и XV веках, и видим плоды этого в XVIII и XIX. Видим в Новозаветной истории повторение Ветхозаветной, где ведь так же слова святого закона были соблюдены, и только потерял его дух, смысл, который не в части обитает, не в строке, не в тексте, но в том, что из всех строк, со всех страниц, из образов, поучений, угроз, обетований веет жизнью вечною, «хлебом животным...».

---

<sup>1</sup> «Тщетно было бы искать приемов его мышления в современной логике; чтобы найти их, недостаточно даже обратиться от логики Милля к логике Гегеля: надо вернуться для этого к логике Оригена Александрийского». П. Милоков: «Разложение славянофильства», в «Вопросах Философии и Психологии», 1893 г., май, стр. 87.

## VIII

«Родная страна полна отрицания»... о, мертвые слова, о, недостаток живого смысла: но не полна ли она также и утверждения, и из живого, что видела история, было ли что-нибудь, что говорило только бедное «да, да», и если оно мешало «да» с «нет», разве можно заключать, что оно вечно должно повторять «нет». Не вся ли Русь в церкви? Вне ее стен, что же останется:

Гром победы раздавайся...

и с этим, с этим ей предлагается остаться, отказавшись<sup>1</sup> от древней веры? Мертвый человек, захотевший вынуть душу из своего народа и надписывающий:

*«Жизнь и смерть положил ныне перед лицом твоим, благословение и проклятие. Избери же жизнь, да живешь ты и семья твое».*

О, конечно, «смерть положил», и проклинай, и проклинай народ свой, но и отходи же в сторону с путей его.

Ни в один из великих отрицательных моментов истории Россия не отрицалась своего я, души своей; но только сбрасывала одеяние, становившееся ветхим, неудобным более, не отвечающим своей цели, — иногда, как это было при Петре I, не отвечавшим тысяче мелких дел, которые, однако, нужно было совершить, чтобы не погибнуть от сил, чисто стихийных и грубых<sup>2</sup>. Но вот, не различая, что *тело* и *болит*, и что *платье* и *рвется*, ей предлагается теперь отречься от этой души. Человек, которого вся сущность состоит в отсутствии сердцевины, корня, и в своей родине не отличил этой сердцевины от наружной кожи, и как, в самом деле, им задуманный «подвиг» отвечает этим указанным особенностям его индивидуального бытия. Без координирующего центра движений, слов в себе, он не увидел его и в истории; лишь палка, бросаема из рук<sup>3</sup> в руки, он подумал, что и тысячелетний

---

<sup>1</sup> Из приведенных выше выдержек, а также и из отсутствия каких-либо упреков католицизму, при обилии упреков православию, можно видеть, что г. Соловьёв вовсе не *соединения* церквей ищет, на основании очищения *той* и *другой* стороны от ложного в себе, или недостаточного; но — подчинения России Риму, с простым отречением ее от православия (см. аналогии с делом Рюрика, Владимира св., Петра Великого, причем в этих аналогиях, православие уподобляется хаосу, язычеству, невежеству, которое прямо уничтожалось, а не примирялось с противоположным).

<sup>2</sup> Т. е. по отношению к России; мы разумеем внешнее завоевание, которому, не усвоив некоторых технических подробностей (армия, флот), Россия могла бы подвергнуться с запада.

<sup>3</sup> В сущности, даже с мыслью своею о соединении церквей через отречение от православия, г. Вл. Соловьёв является лишь неумелым, ограниченным толкователем идеи о

многомиллионный народ может стать бросаемою вещью: его забота найти, кто взял бы это на себя, и, ему кажется, он нашел лучшего, самого сильного. И представить только нашу деревню с латинским ксендзом; наших баб, беременных, с грудными младенцами, которые уже не внесут в церковь этих младенцев, потому что там их незачем вносить; да и не пойдут они в церковь, где им не прочтут Евангелия, где они не поймут и не повторят в душе своей умиленных песнопений, не помолятся с диаконом своим «миром» — «о благосостоянии святых Божиих церквей», «о граде сем и всяком граде», «о мире всего мира». И, уж если нужно произносить проклятия, проклята будет земля наша в тот день и час, когда она откажется от этой святыни, которою жила тысячелетие, посвящена была ею, согрета, утешена, и надругавшись над гробами отцов, побежит за обманывающею и нищенскою рукою, которая, не имея у себя ничего, манит ее обещанием, что что-то будто может дать ей. Бесстыдная и лукавая красавица, все имеющая, «кроме чести», конечно, она не соблазнит нашего пахаря, у которого, быть может, и ничего нет, да и не нужно ему, он спокоен, потому что с ним его совесть, она не растеряна в истории, не продана за золото<sup>1</sup>, не отдана ради чести блуда с сильными мира сего<sup>2</sup>, никого не соблазняла, но и ни о ком не соблазнилась.

## IX

Есть представление о народе нашем, как исключительно мягком, «терпимом», неспособном и, в видах ему навязанной репутации, уже как будто и бесправном в самозащите... Так понимает его, этого требует от него и г-н Вл. Соловьёв, и иные, с ним единомышленные. Им бы эта «терпимость» нужна, по крайней мере, на время. Они не заметили в нем иных, суровых и строгих, черт; и между тем именно они в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день и они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец,

---

«всемирной гармонии человечества через посредство русского народа», которую высказал покойный Достоевский на Пушкинском празднике. Но ведь Достоевский разумел именно православие в русском народе, через которое и о котором спасутся все народы (и мы так ожидаем), а не отречение от этого самого православия, и массовое, физическое соединение с чуждой идеей, верой, или кругом идей. Г-н Соловьёв понял... даже не мысль, а скорее только предчувствие Достоевского, как казуист римского права понял бы поэзию Пушкина: он ее извратил, высказал ей обратное по смыслу, повторяя ее букву.

<sup>1</sup> «Ватикан — это рынок, на котором все можно купить», — определяли в Германии XV-XVI вв.

<sup>2</sup> Союз с растленными европейскими дворами в XVII-XVIII вв. против народов, их свободы, просвещения, благосостояния.



блуда, и, если возможно, в неслыханных формах. Им кажется, «возможно»... Еще день не кончился, *их* день... *последний* день, и вот что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг приготавливаются другие, главные. Еще все молчит; неситесь в веселии своем буйном по улицам, доедайте последний блин, и, если нужно, засыпайте. Но народ, — ударит протяжный колокол, и он необозримыми толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой... Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец, сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за что цепляются только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще желудков, неутоленных позывов.

## Х

И неужели, хоть робко сказать несколько слов о могущем наступить завтрашнем дне — значит преступить что-то, сделать нестерпимое?.. Почему думает г-н Вл. Соловьёв, что все жаждут с ним еще вакханалии и вакханалии. Для многих — ее довольно; довольно для меня и, как всякий, я хочу сказать то, что хочу... Голос мой слаб, и время для него еще не наступило; и не делаю я то, что будет сделано, что может быть сделано завтра. Но ведь и статья моя «Свобода и вера» не призыв, не удар в колокол, а только жест презрения невольного к тому, что и многим гадко... И вот, я повторяю его, указываю еще на «пошатывающегося»; что же, вступить ли мне с ним в брань? к чему? Это так в его вкусах, и вовсе — не в моих. Достаточно понять, определить, самое большее — выговорить в слух определенное. Что может он мне сделать, его брань? Там, куда я иду, он никогда не будет выслушан; там, куда он идет, я не хочу быть выслушанным. Спор наш кончен, да, в сущности, он и не завязывался.

В. Розанов